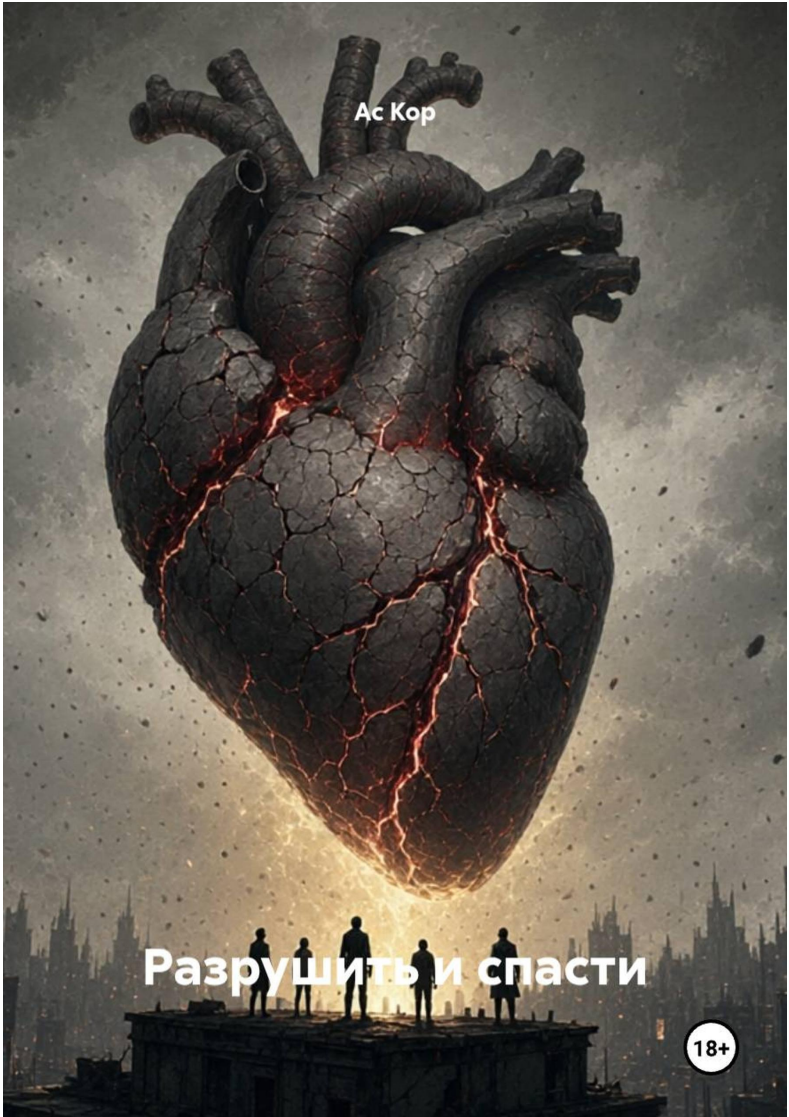

Ас Кор
Разрушить и спасти
18+

Ас Кор
Разрушить и спасти

https://litres.ru/74750177
SelfPub; 2026

Аннотация

Давным-давно — так давно, что даже камни забыли имена тех городов, — богиня смерти отвернулась от этого мира. И прокляла его. Теперь каждый удар сердца можно украсть. Убей — и забери чужой век. Убей — и проживи дольше. Убей — и почувствуй, как чужие удары вливаются в твою грудь, тёплые и сладкие, как краденый мёд.

Мир не выдержал.Города опустели. Дома смотрят выбитыми окнами, как черепа. Кровь на улицах стала обычным делом — как дождь, как грязь, как серое небо. Население сократилось до сотни человек. Все переубивали друг друга. Весь мир погряз в ужасном проклятии.

Но поговаривают, есть шанс. Когда-то давно пара предсказателей — безумцы или святые, никто уже не разберёт — рассказали легенду. О четырёх смертных, что придут. О четверых, что разрушат этот мир — и спасут его. Что это значит — никто не понял. Возможно, это ложь. Возможно, только красивая сказка, чтобы умирать было не так страшно.

Но это единственная надежда на спасение.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 35
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Разрушить и спасти

Глава 1

Легенда о краденых ударах сердца.

Серое небо давило на рваные крыши. Здесь даже дождь вонял гнилью и железом. В этом мире не найти честного ножа — любой клинок солжёт раньше хозяина. Взрослые торговали словами, как тухлым мясом: клятвы стоили медный грош, а правду забыли ещё до рождения тех, кто сейчас грыз кости в сточных канавах. Город был гнилой пастью. В домах не было окон, только дыры, затянутые тряпьём. Люди спали в собственных нечистотах, потому что сил встать и выйти в помойную яму уже не было. Ребёнок получал свою первую еду за неделю — объедки, которые не успели сожрать крысы. Зато крыс тоже ели. Варили с корой и собственной мочой, чтобы убить вонь. Девятилетняя девчонка торговала собой за половинку чёрствой лепёшки, а её младший брат в это время перерезал горло калеке, который не заметил мальчишку из-за гноящихся глаз. Вчера на площади толпа забила вора до состояния мясного фарша. Никто не разошёлся. Дети пинали ошмётки, соревнуясь, чей ботинок глубже увязнет в рёбрах. Маленький оборвыш с острыми, как щепка, ключицами сидел в стороне и доедал чей-то отрезанный палец — не из голода уже, а по привычке. Он убил впервые

в шесть лет. Мать продала его за два медяка старьёвщику, который любил маленьких. Мальчик перерезал старьёвщику горло на вторую ночь, выскреб ложкой глаз и сжёг дом вместе с остальными «игрушками» подвала. Мать потом встретил на рынке. Улыбнулся и плюнул ей в лицо. Она не узнала сына — слишком много шрамов.Выживал не сильный. Выживал тот, кто первым называл друга добычей. У кого глаз быстрее замечал слабость, а рука не дрогла добить даже младенца, потому что младенец будет плакать и привлечёт стражу, а стражники не арестовывали — они просто рубили всё, что движется, и продавали мясо живодёрам. Здесь ложь была единственным воздухом. Взрослые лгали, что любят. Дети лгали, что не боятся. Боги давно сдохли или просто притворялись, что сдохли, — потому что даже боги боялись заглядывать в этот переулок.И вот в такой мир, уже трещащий по швам, уже забывший, что такое жалость, пришла богиня жизни. Может, она хотела спасти. Может, просто играла. Так или иначе, она даровала каждому человеку по судьбе его удары сердца. У кого-то их хватало до девяноста лет — долгая, тихая река; у кого-то — до тридцати — короткий, яркий ручей; а кому-то — всего на пару месяцев, как свече, что дрожит на сквозняке. Никто не знал, почему судьба так щедра к одному и так скупа к другому. Так сказано в легенде. И в этой легенде каждый удар стал монетой, каждый вдох — отсрочкой, а сердце — единственной валютой, что ещё имела цену.А потом пришла богиня смерти, всего пару лет

назад мир был проклят ею. Пару лет назад, когда ещё существовали города с большим населением, когда улицы пахли хлебом и дымом очагов, а люди охотно рожали детей, — мир был спокойным. Сейчас никто не знает, насколько это правда. Ведь это было так давно, что даже камни забыли имена тех городов, а ветер стёр лица тех, кто в них жил.Она пришла не с мечом и не с огнём. Она пришла с тишиной. Сначала небо — и без того серое — стало ещё темнее. Потом тучи, тяжёлые, как мокрая шерсть, опустились на землю и окутали её всю — от края до края, от горизонта до горизонта. Тьма легла на дома, на улицы, на поля, на реки. Она не была ночью — ночью приходит рассвет. Она была гневом. Гневом богини, которая посмотрела на этот мир — на его гниль, на его ложь, на его голод, на его детей, которые убивали детей, — и решила, что он не заслуживает света.И тьма стала проклятием.Проклятие богини смерти было простым и страшным: убей — и забери удары сердца убитого. Почти все. Оставь ему только последний, предсмертный, чтобы он успел почувствовать, как его век перетекает в твои жилы. И люди, уже привыкшие убивать за корку хлеба, получили причину убивать за целую жизнь.Но была в проклятии трещина — ритуал. Чтобы забрать удары сердца, нужно было не просто убить. Нужно было выбрать. Осознанно, глядя в глаза, произнести шёпотом древнюю формулу: «Я выбираю. Твой век — мой. Твой последний вдох — мой первый». И почувствовать, как чужое сердце останавливается, а твоё бьётся

сильнее. Тот, кто убивал в панике или ярости, не получал ничего. Только тот, кто выбирал — зная, что отнимает чужую жизнь ради своей, — мог продлить свой век. И потому каждый удар, украденный у другого, ложился на убийцу грузом выбора. Трагедия была не в том, что убивать легко. Трагедия была в том, что убивать приходилось снова и снова, и каждый раз ты знал: этот удар — чей-то последний. Этот вдох — чей-то прощальный. И ты выбрал его вместо своего.Первые смерти были случайными. Женщина зарезала грабителя в переулке — и вдруг почувствовала, как её сердце бьётся ровнее, глубже, будто в грудь влили тёплое масло. Старик убил соседа в драке за воду — и его дрожащие руки перестали дрожать. Мальчишка в шесть лет перерезал горло старьёвщику — и в его глазах появилось что-то древнее, чужое. Тогда ещё никто не знал формулы. Тогда ещё никто не понимал, что происходит. Но слух пополз по улицам, как крыса по трубе: убей — и проживёшь дольше. И мир сошёл с ума.Сначала убивали стариков — у них мало ударов, но больше, чем ничего. Потом — соседей. Потом — друзей. Потом — детей. Потому что у детей ударов больше всего: они ещё не растранжирили свой век, их сердца бились часто и щедро, как весенний дождь. Некоторые родители специально рожали детей, чтобы убить и продлить свою жизнь. Они держали младенцев на руках, считая их удары, как считают монеты в кошеле. Но они тоже не проживали долго, ведь есть те, кому нужны их удары сердца. И те, кому нужны удары

их детей. Так цепь не замыкалась — она только удлинялась, пока не обрывалась.Города пустели. Дома смотрели выбитыми окнами, как черепа. Дороги зарастали колючкой. Тьма, которую богиня смерти окутала землю, не рассеивалась — она стала воздухом, которым дышали. Теперь в этом мире осталось людей не больше ста. Сто сердец. Сто счётчиков. И все они убивали друг друга.Постоянные убийства стали нормой — не грехом, не трагедией, а воздухом, которым дышали. Люди в надежде прожить подольше набрасывались друг на друга, как голодные животные. Но в итоге мир стал ещё опаснее. Население снизилось настолько, насколько не было снижено никогда. Все охотились за ударами сердца детей. В этом мире — убей или будь убит. Людей, не забиравших жизнь и удары сердца других, не найти. Все охотились друг на друга. Прежний мир никогда не вернуть. Он рассыпался, как истлевшая ткань, и остался только запах — слабый, горький, чужой.Многие ломались. Некоторые отказывались брать удары сердца, даже убивая. Они умирали молодыми, но с чистыми руками — если чистота ещё что-то значила в мире, где руки мыли только от крови, чтобы не скользили. Но таких было мало. Остальные считали. Считали удары своих детей. Считали удары случайных прохожих. Считали, сколько ещё вздохов осталось до того, как они сами станут чьей-то монетой.И вот в этом мире, где каждый удар сердца был краденым, где каждый вздох был отсрочкой, родилось пророчество. Когда-то пара предсказателей — безумцы или

святые, никто уже не разберёт — рассказали: «Четверо легенд уничтожат и спасут этот мир». Что это значит — никто так и не понял. Многие умерли, блаженно веря в это предсказание, с улыбкой на губах и пустотой в груди. Возможно, это неправда. Возможно, это только красивая сказка, чтобы умирать было не так страшно. Но это единственная надежда на спасение.Одни говорили: четверо придут, чтобы разрушить проклятие, и для этого им придётся уничтожить всех, кто крадёт удары сердца. Другие шептали: четверо придут, чтобы уничтожить этот мир окончательно, потому что он уже не заслуживает спасения. Третьи верили: четверо — это те, кто накопит столько украденных ударов, что сможет противостоять самой богине смерти. Но чтобы стать одним из четверых, нужно было убивать. Много. Долго. С выбором. И в этом была главная трагедия: чтобы спасти мир, нужно было стать тем, кто его разрушает. Чтобы вернуть свет, нужно было сначала сгнить в темноте. Чтобы прекратить красть удары сердца, нужно было украсть их столько, чтобы никто больше не смел поднять руку.И потому в самых тёмных уголках умирающего мира всё ещё шепчут эту легенду — о богине жизни, о проклятии богини смерти, о краденых ударах сердца и о четверых, что придут разрушить и спасти. Шепчут, чтобы не сойти с ума. Шепчут, чтобы сердца — даже краденые, даже чужие — продолжали биться. Шепчут, потому что даже в мире, где каждый удар сердца — чья-то смерть, всё ещё теплится надежда: а вдруг однажды кто-то выберет

не брать? Вдруг однажды кто-то выберет спасать, а не разрушать? Вдруг однажды четверо придут — и мир, уже умирающий до проклятия, наконец-то сможет вздохнуть свободно?Так говорят, если ещё есть кому говорить.

Часть I. Мальчик, который родился не в том мире.

Кейн родился слабым.Не в том смысле, в каком рождаются все дети — с криком, с кровью, с первым вдохом, который кто-то оплатил слезами. Нет. Кейн родился тихим. Слишком тихим. Акушерка — старая женщина с руками, которые видели больше смертей, чем рождений, — поднесла его к свету и нахмурилась. Мальчик не кричал. Не плакал. Только смотрел — огромными, светлыми, почти прозрачными глазами — и дышал так тихо, что казалось, будто он боится потревожить мир своим дыханием.— Он выживет? — спросил отец.— Может, — сказала акушерка. — Может, нет. Он слабый. Сердце бьётся неровно. Удары редкие. Ему бы год — может, два. Не больше.Отец кивнул. Он не расстроился. Он не обрадовался. Он просто принял это к сведению — как принимают к сведению цену товара на рынке.Кейн родился в долг. Не в том смысле, в каком рождаются все дети. В буквальный, записанный в книгу, заверенный свидетелями долг. Его сердце принадлежало кредиторам отца ещё до того, как он сделал первый удар.Отец Кейна был не просто главой «Колыбели» — организации, которая охотилась на младен-

цев ради их ударов сердца. Он был ростовщиком. Он давал в долг удары сердца — под проценты. Сотня ударов сейчас — две сотни через месяц. Тысяча сейчас — три тысячи через два. Люди приходили к нему, когда голод становился невыносимым, когда дети умирали, когда смерть стояла за дверью, — и он давал. Он всегда давал. А потом забирал.Кейн был залогом. Его сердце, его удары, его век — всё это было вписано в книгу отца с первого дня. Если отец не расплатится — а он не собирался, — Кейн умрёт раньше, чем должен. Его удары перейдут кредиторам. Его жизнь станет чужой монетой.Он узнал об этом в шесть лет. Отец сказал ему это спокойно, буднично, как говорят о погоде:— Ты — мой залог. Твоё сердце — не твоё. Каждый удар, который ты делаешь, — это мой долг. Не забывай.Кейн не забывал. Никогда.---Он вырос в доме, где любовь была слабостью, а нож — единственным языком. Мать Кейна была женщиной с холодными руками и пустыми глазами. Она не любила его. Она не ненавидела его. Она просто не замечала его — как не замечают мебель, как не замечают сквозняк, как не замечают что-то, что не имеет значения. Она была частью «Колыбели» — не просто женой главы, а его правой рукой. Она убивала так же легко, как дышала. Она забирала удары сердца у детей — и не плакала. Никогда.Кейн боялся её больше, чем отца. Отец был холодным, расчётливым, но он хотя бы замечал Кейна — как замечают долг, как замечают товар, как замечают что-то, что можно использовать. Мать не

замечала его вовсе. Для неё он был пустым местом. Ошибкой. Слабым звеном в цепи сильных.Кейн был не таким, как они. Он был слабым. Пугливым. Он боялся темноты, боялся криков, боялся крови. Волосы у него были тёмно-рыжими — почти каштановыми, но с рыжиной, которая становилась заметной только на свету. Когда-то, наверное, они были яркими, как закат, но солнце в этом городе почти не выходило из-за серых облаков, и рыжина потускнела, стала глуше, как всё в этом мире. Он носил их длинными, до плеч, и они падали на лицо, когда он наклонялся над тетрадью. Он никогда их не стриг — не потому, что хотел быть красивым, а потому, что не было времени. Или потому, что некому было напомнить.На лице у него было несколько веснушек — совсем немного, россыпью на переносице и на скулах. Они были бледными, почти незаметными, как будто солнце, которое их когда-то нарисовало, давно забыло о нём. Когда он плакал — а он плакал часто, — веснушки становились ярче, как будто слёзы возвращали им цвет. Это было странно. Это было красиво. Это было единственное, что напоминало в нём о том, что когда-то он мог быть счастливым.Глаза у него были светлыми — серо-голубыми, как небо, которого больше не было. В них всегда было что-то, что заставляло людей отводить взгляд. Не страх. Не жалость. Что-то другое. Что-то, что было глубже. Что-то, что было похоже на вопрос, на который никто не знал ответа.---Две стороныВнутри Кейна всегда боролись две стороны.Первая говорила: «Ты дол-

жен быть как все. Ты должен убивать. Ты должен не бояться. Ты должен брать своё — потому что если ты не возьмёшь, возьмут другие. Потому что в этом мире нет места для добрых. Потому что добрые умирают первыми».Это была сторона, которая хотела выжить. Сторона, которая видела, как умирают слабые, и не хотела быть среди них. Сторона, которая шептала: «Ты тоже можешь. Просто попробуй. Просто возьми нож. Просто убей. И страх уйдёт. И боль уйдёт. И ты станешь сильным».Вторая сторона говорила: «Это неправильно. Это плохо. Они тоже люди. Они тоже хотят жить. Они тоже боятся. Они тоже любят. У них есть матери, отцы, дети. Они не заслуживают смерти только потому, что ты хочешь жить дольше».Это была сторона, которая помнила. Сторона, которая видела лица тех, кого убивал отец, и запоминала их. ..Кейн — это ягнёнок. Он не создан для этого мира. Он не создан для убийств, для крови, для смерти. Он создан для другого — для мира, где люди улыбаются, где дети не умирают, где сердце — просто сердце. Но того мира нет. Есть этот. И Кейн живёт в нём — как ягнёнок среди волков.Кейн не умер. Пока. Но он знает, что может. И всё равно идёт вперёд. Потому что кто-то должен. Потому что кто-то должен быть ягнёнком. Чтобы напоминать волкам, что они тоже когда-то были ягнятами.

--

Кейн плакал. Ночами. В подушку. Тихо. Чтобы никто не слышал.А потом решил: он убьёт отца.Не из мести. Не из

ненависти. Из расчёта. Холодного, точного, окончательного. Первого и единственного расчёта в его жизни. Потому что пока отец жив — мир не изменится. Потому что пока книга долгов существует — дети будут умирать. Потому что пока «Колыбель» стоит — удары сердца будут красть. Потому что кто-то должен это остановить.Но Кейн был слабым. Он не мог убить отца сам. Он даже нож держал неуверенно — руки дрожали, когда он пытался представить, как вонзает клинок в чужую плоть. Он не мог. Не умел. Не хотел.

И тогда он нашёл Мару.

Мара родилась в мире, который ещё умел улыбаться.Это было так давно, что она сама почти не верила, что это было с ней. Но помнила. Помнила дом с окнами — настоящими окнами со стеклом, пусть мутным, пусть треснувшим в углу, но через него проходил свет. Помнила мать, которая пекла хлеб по утрам, и запах дрожжей смешивался с запахом дождя. Помнила отца, который возвращался с работы усталым, но всегда находил силы подхватить её на руки и закружить по комнате, пока она визжала от восторга. Помнила брата — старшего, серьёзного, который учил её читать по вывескам на улицах, потому что книг у них не было.Она помнила зелёные яблоки. Отец любил кислые. Каждую субботу она ходила с матерью на рынок, и они покупали яблоки — твёрдые, зелёные, с блестящей кожурой. Мара несла их домой в плетёной корзине и по дороге съедала одно, самое маленькое, а потом врала, что оно упало.Ей было четырнадцать, когда

всё кончилось.Мир и до этого был не идеальным — она знала, что за стенами их дома есть голод, есть злоба, есть люди, которые бьют своих детей и продают своих жён. Но это было далеко. Это было не с ней. Её мир пах хлебом, яблоками и дождём. Её мир умел улыбаться.А потом богиня смерти отвернулась от мира — и мир перестал быть цветным.Мара не видела её. Никто не видел. Но в ту ночь она проснулась от того, что её сердце пропустило один удар. Всего один. А потом забилось снова — но уже иначе. Будто в груди поселились часы, и кто-то снял с них защитный колпак. Она почувствовала, как её век утекает — тихо, ровно, как вода сквозь пальцы. Ей было четырнадцать, и она вдруг поняла, что умрёт. Не когда-нибудь. А точно. В определённый день, в определённый час, когда её сердце сделает последний удар и замолчит.Она не сказала родителям. Они тоже проснулись — она видела по их лицам. Но они молчали. В этом доме не принято было говорить о страшном. Мать утром испекла хлеб. Отец ушёл на работу. Брат ушёл в школу. Всё было как всегда — но уже не так. Тень проклятия легла на мир, и даже солнце казалось тусклее.А через три дня Мара пошла на рынок.Солнце стояло высоко — дурацкое, весёлое, жёлтое, будто не знало, что мир умирает. Она несла в корзине хлеб и зелёные яблоки — отец любил кислые. Дорога домой шла через рощу, где всегда пахло мокрой корой и прошлогодними листьями. Она знала эту дорогу наизусть — сто раз ходила по ней, и сто раз ничего не случалось.Она не услыша-

ла шагов.Только тяжёлую руку на рту. Только запах чужого пота и дешёвого вина. Только землю под спиной — холодную, влажную, с мелкими камешками, которые впивались в кожу. И боль. Такую, какой она не знала раньше. Такую, от которой хочется умереть сразу, но тело почему-то продолжает жить.Ей было четырнадцать.Он был старым. Очень старым — с морщинистым лицом, жёлтыми зубами и глазами, которые не видели в ней человека. Она узнала его потом — по слухам, по шёпоту на рынке. Ему было двести тридцать лет. Он начал убивать детей сразу после проклятия — потому что детские годы самые сладкие, они дольше согревают. Он забирал их удары сердца и становился сильнее, старше, страшнее. Он был одним из первых, кто понял, как работает проклятие. Одним из первых, кто перестал быть человеком.Он не убил её. Почему — Мара так и не поняла. Может, хотел, чтобы она жила и помнила. Может, просто забыл. А может, знал, что через девять месяцев она родит — и тогда он вернётся за новым, ещё более юным сроком. Он оставил её на земле — избитую, изорванную, пустую — и ушёл, насвистывая.Мара лежала в роще до темноты. Она не плакала. Она смотрела в небо — дурацкое, весёлое, жёлтое — и ждала, когда оно наконец погаснет. Оно не погасло. Мир не заметил, что с ней случилось. Мир вообще перестал замечать что-либо, кроме ударов сердца.Она вернулась домой к утру. Корзина осталась в роще — с хлебом и зелёными яблоками. Мать не спросила, где она была. Мать посмотрела на её лицо

и всё поняла. Но в этом доме не принято было говорить о страшном. Мать просто обняла её и отвела в комнату. А через неделю умерла — сердце остановилось, сказали соседи. Мара знала: мать не смогла жить с тем, что случилось. Она выбрала остановиться.Отец умер через месяц. Брат — через два. Мара осталась одна в доме, который ещё пах хлебом, но уже не умел улыбаться.---Часть II. СветОна не хотела его. Первые три месяца беременности она пыталась избавиться от плода — пила отвары, которые ей давала старуха-травница, прыгала с лестницы, голодала, била себя в живот кулаками. Ребёнок не уходил. Он цеплялся за жизнь с таким упорством, что Мара почти зауважала его.Иногда по ночам она лежала в темноте, положив руки на живот, и чувствовала, как там что-то шевелится. Что-то живое. Что-то, что не просило, чтобы его рожали. Что-то, что просто хотело жить. И она думала: «Может, это знак. Может, это единственное, что у меня осталось».А потом вспоминала лицо того мужчины. Его жёлтые зубы. Его глаза. И ненавидела себя за то, что не может перестать думать о ребёнке как о своём.Она родила в подвале, одна, зажимая рот рукой, чтобы никто не услышал. Это было через год после проклятия — мир уже знал правила. Уже знал, что детские годы — самая лёгкая добыча. Уже знал, что рожать в таком мире — это преступление против собственного ребёнка. Но Мара не могла иначе. Ребёнок не уходил. Ребёнок хотел жить.Он вышел молча — только всхлипнул один раз, когда Мара перерезала пуповину кухон-

ным ножом. Она подняла его на руки — крошечного, красного, смешного, с кулачками, которые сжимались в воздухе, будто он уже готов был драться за свою жизнь. И у него были глаза отца — того самого, двести тридцатилетнего мерзавца. Такие же светлые, почти белые, как у слепого.Мара посмотрела на него и впервые за год заплакала.Она назвала его Светом. Потому что в тот момент, когда она взяла его на руки, ей показалось, что в подвале зажглась свеча. Маленькая, слабая, дрожащая — но живая. Единственная свеча в мире, который давно погас.Свет рос тихим. Почти не плакал. Улыбался редко, но если улыбался — то так, что Мара забывала, зачем она вообще ненавидит этот мир. Он был послушным, ласковым, тёплым. Он тянул к ней руки, когда она возвращалась домой — с пустыми карманами, с кровью под ногтями, с очередной украденной жизнью за спиной. И она брала его на руки, и мир на мгновение становился цветным.Она убивала ради него. Воровала ради него. Отдавала последний кусок хлеба — и оставалась голодной, но счастливой. Она научилась слышать дыхание убийцы за двадцать шагов, научилась бегать так, что ветер свистел в ушах, научилась спать с ножом под подушкой и сыном на груди. Она меняла дома каждую неделю. Иногда — каждую ночь. Она знала: в этом мире за детьми охотятся все. И она была готова убить любого, кто посмотрит на Света слишком долго.Но она не была готова к тому, что произошло.

---Часть III. Тесак.

Когда Маре было семнадцать, она украла тесак.Это была не кража ради выгоды — это была кража ради выживания. Мясник, у которого она его взяла, лежал в собственной крови на полу своей лавки, а его годы уже перетекали в чьи-то чужие жилы. Мара не стала искать убийцу. Она просто вошла в лавку, взяла с колоды самый большой тесак — тяжёлый, широкий, с деревянной рукоятью, отполированной ладонями мясника, — и ушла. Никто не обратил на неё внимания. В этом мире давно перестали замечать тех, кто не крадёт удары.Тесак был тяжёлым. Неудобным. Он не был изящным оружием — он был грубым, тупым с одного края и острым с другого, и он пах мясом и железом. Мара не умела фехтовать. Она не умела танцевать с ножами, как танцевала Тиша, та девочка с кукольным лицом, о которой она услышит позже. Мара умела только одно: бить. Со всей силы. Со всей яростью, которая накопилась в ней за годы — за ту ночь в роще, за мать, которая умерла от горя, за отца, который не смог жить, за брата, который ушёл в мир и не вернулся, за каждый день, который она провела, прячась, голодая, дрожа.Тесак стал продолжением её рук. Продолжением её ярости.Первым она убила мужчину, который попытался отнять у неё Света на рынке. Тот схватил мальчика за руку, потянул к себе, и Мара — не думая, не рассчитывая, не строя планов — просто ударила. Тесак вошёл ему в шею с такой силой, что почти отсёк голову. Кровь ударила фонтаном, залила ей лицо, руки, грудь, и Свет, который стоял рядом, закричал

— не от страха, а от неожиданности.Мара стояла над телом, тяжело дыша, и смотрела на кровь на своих руках. Она не чувствовала ничего. Ни отвращения, ни раскаяния, ни даже облегчения. Только ярость — глухую, ровную, как гудение в ушах. Эта ярость стала её топливом. Она жгла её изнутри, не давала спать, не давала остановиться. И Мара не хотела останавливаться.Она убивала тесаком — грубо, быстро, без жалости. Она не забирала удары у своих жертв. Не хотела. Пусть их годы сгорают вместе с телами. Она не хотела становиться сильнее. Она хотела только одного: чтобы те, кто охотится на детей, перестали существовать. Чтобы каждый, кто поднимет руку на ребёнка, знал: за ним придёт женщина с тесаком. И она не будет спрашивать.Свет рос рядом с этим. Он видел кровь на её руках. Видел, как она точит тесак по вечерам. Видел, как она уходит — и возвращается. Он не боялся. Он смотрел на неё своими светлыми глазами и улыбался. И иногда — Мара замечала это с ужасом — в его улыбке было что-то взрослое. Что-то, что понимало больше, чем должно было понимать в три года.— Мама, — сказал он однажды, — ты убиваешь плохих людей?— Да, — ответила Мара.— Хорошо, — сказал Свет. — Пусть они не приходят.И Мара поняла: он всё видит. Он всё знает. Он растёт в мире, где убийство — это норма, и он уже это принял. Это было страшнее любого проклятия.---Часть IV. Ночь, когда всё кончилосьСвету было три года.Они жили в подвале старого дома на краю города — в месте, где никто не ходил,

где пахло сыростью и мышами, где можно было спрятаться от чужих глаз. Мара спала чутко, как зверь. Каждый шорох, каждый скрип, каждый вздох ветра за стеной — она слышала всё. Она знала: рано или поздно они придут. Вопрос был только в том, когда.Они пришли на рассвете.Мара проснулась от того, что дверь подвала открылась. Не выбили — открыли тихо, аккуратно, будто входили в дом, а не в логово. Их было двое: высокий мускулистый мужчина с холодными глазами и его напарник — помельче, с кривой усмешкой и ножом на поясе. Мара узнала первого сразу. Это был тот самый мужчина. Двести тридцать лет. Жёлтые зубы. Глаза, которые не видели в ней человека.Он пришёл за ребёнком.— Ты долго пряталась, — сказал он. — Я почти забыл о тебе. Но потом вспомнил. Ты была сладкой. Наверное, и сын твой сладкий.Мара вскочила. Она схватила тесак — тот самый, с деревянной рукоятью, отполированной ладонями мясника, — и встала между ним и кроватью, где спал Свет.— Не подходи, — сказала она.Мужчина засмеялся. Он даже не достал оружия — просто швырнул её об стену, так что у неё хрустнули рёбра, и прошёл к кровати. Мара ползла за ним по полу, волоча сломанные пальцы, кусала его за ногу, царапала, кричала. Он ударил её в лицо — один раз, второй, третий — и она замолчала, потому что не могла больше говорить.Он поднял Света с кровати. Мальчик проснулся и смотрел на него своими светлыми глазами — испуганно, но без слёз. Он не плакал. Он никогда не плакал.— Красивый мальчик, —

сказал мужчина. — Лет на семьдесят потянет. А может, и на все сто.Он ударил Света — один раз, между лопаток, с такой силой, что мальчик даже не закричал. Только хрипнул и обмяк. Кровь потекла по простыням — тёмная, густая, слишком много для трёхлетнего тела.— Ещё жив, — усмехнулся мужчина. — Крепкий. Но я заберу его годы, когда он умрёт. А ты посмотришь.Они ушли. Потому что знали: раненый ребёнок не выживет. Им оставалось только ждать.---Часть V. Нож, который не хотел опускатьсяМара подползла к кровати. Свет был ещё в сознании — чуть-чуть. Он смотрел на неё своими светлыми глазами и шевелил губами. Она наклонилась и услышала:— Мама… больно…И тогда внутри неё что-то сломалось. Не заплакало. Не закричало. Сломалось — как сухая ветка, которую перегибают через колено. И из этого излома вытекла не боль, а холодная, чистая, как лёд, решимость.Она знала, что будет дальше. Свет умрёт через час, может, через два. Мужчина вернётся — или пришлёт кого-то другого — и заберёт его годы. Семьдесят лет. Может, сто. Он станет сильнее. А Свет исчезнет. Навсегда. И никто не отомстит.Кроме неё.Только если… если она сделает это сама.Если она убьёт Света, годы перейдут к ней. Она станет сильнее. Быстрее. Семьдесят лет в теле восемнадцатилетней девушки — это оружие. Оружие, которое она сможет направить против всех. Против того мужчины. Против его напарника. Против каждого, кто смотрел на её сына как на добычу.Но для этого она должна убить собственного ре-

бёнка.Мара взяла тесак. Тяжёлый. Широкий. С деревянной рукоятью. Она держала его в руках и смотрела на Света. Он лежал на кровати — маленький, бледный, с кровью на губах — и смотрел на неё. Ждал. Он всегда ждал её. Он всегда верил, что она придёт и всё исправит.Она не могла.Она опустила тесак. Потом подняла снова. Потом снова опустила. Её руки дрожали. Всё её тело дрожало. Она стояла над сыном с тесаком в руках и не могла решиться. Не могла. Не могла. Не могла.Она вспомнила, как он родился — молча, с кулачками, сжимающимися в воздухе. Как она впервые взяла его на руки и почувствовала, что в подвале зажглась свеча. Как он улыбался ей — редко, но так, что она забывала, зачем ненавидит этот мир. Как он тянул к ней руки, когда она возвращалась домой. Как она отдавала последний кусок хлеба, чтобы он не голодал. Как он сказал: «Пусть плохие люди не приходят». Как он смотрел на кровь на её руках — без страха, с доверием. С любовью.Она вспомнила всё — и это было хуже, чем нож в сердце.Она села на пол рядом с кроватью. Тесак выпал из её рук. Она обхватила колени руками и закачалась — вперёд-назад, вперёд-назад — как в детстве, когда мать пела ей колыбельные. Она не плакала. Она не могла плакать. Она просто качалась и смотрела в стену, и время шло, и Свет умирал, и она знала это, и не могла ничего сделать.Прошёл час. Может, два. Свет уже почти не дышал. Его глаза были полузакрыты. Кровь на губах запеклась. Он был ещё жив — но едва-едва. Мара слышала, как его серд-

це бьётся — медленно, тихо, как часы, которые забыли завести. Каждый удар был слабее предыдущего. Каждый удар мог стать последним.И тогда Свет открыл глаза.Он посмотрел на неё — долгим, ясным, взрослым взглядом. И сказал — тихо, почти шёпотом:— Мама. Сделай это.Мара замерла.— Что? — прошептала она.— Я слышал, — сказал Свет. — Они говорили. Они вернутся. Они заберут меня. — Он сглотнул, и на его губах выступила новая кровь. — Не отдавай меня им. Пожалуйста.— Свет…— Ты же сильная, — сказал он. — Ты же мама. Ты всех победишь. Только… только не отдавай меня им.Он смотрел на неё своими светлыми глазами — глазами того мужчины, глазами её кошмара, глазами её сына. И улыбался. Так же, как всегда. Так же, как в подвале три года назад.— Я тебя люблю, — сказал он. — Ты самая лучшая. Ты не бойся. Я не боюсь.Мара закричала.Она кричала так, что стены подвала задрожали. Она кричала так, что где-то наверху, на улице, люди остановились и прислушались. Она кричала так, что сорвала голос — и потом ещё долго не могла говорить. Она кричала не от боли. Не от ярости. От чего-то большего — от чего-то, что не имеет названия. От того, что рвётся в груди, когда ты должна выбрать между двумя невозможностями. От того, что делает человека человеком — и одновременно отнимает у него всё.Она взяла тесак.Её руки больше не дрожали. Не потому, что она перестала бояться. А потому, что бояться было уже нечего. Всё, чего она боялась, уже случилось. Всё, что она любила, уже умирало.

Оставалось только одно: не отдать его им.Она наклонилась над сыном. Поцеловала его в лоб — холодный, влажный от пота. Он пах молоком и кровью. Он пах домом, которого у неё никогда не было. Он пах жизнью, которую она не могла ему дать.

— Прости меня, — прошептала она. — Прости. Прости. Прости.

Свет улыбнулся — в последний раз. И закрыл глаза.

Мара подняла тесак.

Она не помнила, как опустила его. Не помнила, как лезвие вошло в маленькую грудь. Не помнила, как кровь залила её руки, лицо, колени. Она помнила только одно: как годы вливаются в неё. Не сразу — сначала волной тепла от груди к животу, потом — холодом от живота к пальцам. Семьдесят лет чужой жизни поселились в её груди, смешиваясь с собственной болью. Она забрала у сына всё, что у него было. Всё, что он не успел прожить. Всё, что тот мужчина хотел забрать себе.

Она убила сына.

И в тот же миг перестала быть тем, кем была раньше.

Часть VI. Та, что убила сына

После той ночи Мара не плакала. Никогда.

Она похоронила Света в роще — там, где когда-то шла с рынка с корзиной зелёных яблок. Выкопала могилу руками, потому что у неё не было лопаты. Положила его в яму, укры-

ла землёй, сверху набросала прошлогодних листьев. Она не сказала над ним ни слова. Не могла. Слова застряли в горле, как кость.

А потом взяла тесак и пошла искать того мужчину.

Она выследила его через три дня. Нашла в таверне — он пил вино и хвастался приятелям, как скоро станет ещё на сотню лет старше. Мара вошла через дверь. Не прячась. Не крадучись. Просто вошла — с тесаком на плече, с кровью сына на руках, с яростью, которая жгла её изнутри, как раскалённый уголь.

Люди в таверне замолчали. Кто-то засмеялся — девчонка, восемнадцать лет, против двухсоттридцатилетнего убийцы? Смешно.

Он не успел даже встать.

Мара ударила его тесаком — раз, другой, третий. Она не целилась. Не рассчитывала. Она просто била — со всей силы, со всей яростью, которая накопилась в ней за годы. Тесак входил в его тело, как в мягкое масло, и выходил, и входил снова, и кровь летела во все стороны, и люди в таверне разбегались, крича, а Мара всё била и била, пока от мужчины не осталось ничего, что можно было бы узнать.

Она убивала его долго. Очень долго. Так долго, что рукоять тесака стала скользкой от крови, и ей пришлось перехватить его двумя руками. Она не смотрела на его лицо. Она смотрела на свои руки — на кровь, которая была не только его. На кровь Света, которая всё ещё была на её ладонях. Она

хотела смыть её. Смыть этой кровью. Заменить одну кровь другой. Но не могла. Кровь Света была глубже. Она была под кожей. Она была в костях.

Когда всё кончилось, Мара выпрямилась. Она тяжело дышала. Тесак дрожал в её руках — или это дрожали её руки. Она не знала. Она уже ничего не знала.

Она не забрала его годы — не хотела. Пусть сгорают вместе с телом.

Напарника она нашла на следующий день. Тот был умнее — пытался бежать, нанял охрану, спрятался в подземелье. Мара убила всех, кто встал между ними. Двенадцать человек за одну ночь — тесаком, грубо, быстро, без жалости. Она не помнила их лиц. Она помнила только Света.

Когда она наконец добралась до напарника, тот стоял на коленях и молил о пощаде.

— Твой сын всё равно бы умер, — хрипел он. — Я тут ни при чём. Я просто смотрел.

— Я тоже буду просто смотреть, — сказала Мара.

Она связала его. Влила в рот зелье, которое не даст умереть от потери крови. И начала резать тесаком. Медленно. Кусочек за кусочком. Она хотела, чтобы он прожил каждый миг того, что чувствовал Свет. Она хотела, чтобы он запомнил её лицо — так же, как она запомнила лицо того мужчины.

Он умер через семь часов. Мара сидела рядом и не отводила глаз. Она хотела запомнить каждое его движение. Каж-

дый звук. Каждую гримасу боли.

Когда всё кончилось, она вышла на улицу. Был рассвет — дурацкий, весёлый, жёлтый. Такой же, как в тот день, когда она шла с рынка, неся в корзине зелёные яблоки.

Мара посмотрела на небо и не заплакала.

Она больше не умела плакать.

Она умела только убивать.

Часть VII. После

Говорят, она стала одной из страшнейших убийц этого мира. Говорят, она ходила с большим тесаком — тяжёлым, широким, с деревянной рукоятью, отполированной ладонями мясника, — и никогда не брала удары сердца у детей. Говорят, она убивала только тех, кто охотился на детей, — и делала это так грубо, так яростно, что даже бывалые убийцы отводили глаза. Говорят, она не пряталась. Не крадучись. Просто входила — с тесаком на плече, с кровью на руках — и била. И била. И била.

Говорят, она искала четвёртых. Тех самых, из пророчества. Четверо легенд, что уничтожат и спасут этот мир. Она не знала, кто они. Не знала, где их искать. Но она знала: если они существуют, они тоже кого-то потеряли. Они тоже убили кого-то, кого любили. Они тоже больше не умеют плакать.

-

Мара была легендой — не той, из пророчества, а другой. Живой. Страшной. Она охотилась на людей из «Колыбели» — выслеживала их, находила, убивала. Говорили, что она потеряла сына. Говорили, что она убила его сама, чтобы его удары сердца не достались чудовищу. Говорили, что с тех пор она не плачет — только убивает. Говорили, что у неё большой тесак — тяжёлый, широкий, с деревянной рукоятью, отполированной ладонями мясника, — и что она не прячется, не крадётся, а просто входит и бьёт. И бьёт. И бьёт.Кейн нашёл её через слухи — через шёпот на рынке, через имена, которые называли в темноте. Он знал, где она живёт. Знал, когда она возвращается. Знал, что она придёт за его матерью.Он ждал.Это случилось ночью — холодной, сырой, с ветром, который выл в щелях дома, как голодный зверь. Кейн лежал в своей комнате, не спал. Он слышал, как Мара вошла в дом — тихо, как тень. Как она прошла по коридору. Как открыла дверь в комнату матери. Как мать проснулась — и не успела крикнуть.Кейн слышал всё. Он всегда слышал всё. Но не двинулся с места. Не закричал. Не позвал на помощь. Он просто лежал и слушал, как умирает его мать — женщина, которая не замечала его, которая убивала детей, которая была частью «Колыбели». Он не чувствовал горя. Не чувствовал радости. Только пустоту — и тихое, ровное биение своего слабого сердца.А потом он встал. Взял тетрадь. И пошёл в комнату матери.Мара стояла над телом — с тесаком в руке, с кровью на лице, с глазами,

которые не выражали ничего. Она обернулась, когда он вошёл. Её рука дёрнулась — instinct, привычка, — но она не ударила. Она увидела мальчика. Слабого. Бледного. С тетрадью в руках. И слёзы текли по его лицу — тихо, беззвучно, как дождь по стеклу.Кейн не смотрел на неё. Он смотрел на мать. А потом опустился на колени рядом с телом — и начал писать.Мара стояла и смотрела. Она хотела убить его — свидетелей не оставляют. Но что-то в его движениях — медленных, осторожных, будто он боялся потревожить мёртвую, — остановило её. Она подошла ближе. Заглянула через его плечо.На странице были имена. Много имён. Мелкий почерк, ровные строчки. И молитвы — на полях, между именами, внизу страницы. «Прости меня. Прости нас. Пусть они не помнят боли. Пусть они простят нас». Слёзы капали на чернила и размывали их. Кейн писал и плакал. Писал и плакал. И не останавливался.Мара прочитала. Все имена. Все молитвы. Она увидела имена детей — тех самых, которых убивали его родители. Увидела имена стариков, женщин, мужчин — всех, чьи удары сердца забрали в «Колыбели». Увидела, как он записывал каждое имя — чтобы помнить. Чтобы не забыть. Чтобы кто-то — хоть кто-то — помнил, что они были.И тогда Мара заплакала.Не от горя. От счастья. Впервые за много лет — от счастья. Потому что в этом мире, где каждый удар сердца был краденым, где каждый убивал, где дети рождались, чтобы умереть, — в этом мире остался человек, который тоже делал что-то. Что-то маленькое. Что-то беспо-

лезное. Что-то, что не меняло мир. Но что-то. И этот человек плакал. Как она когда-то. Как она больше не умела.Она опустилась на колени рядом с ним. Положила тесак на пол. И сказала:— Как тебя зовут?— Кейн.— Кейн, — повторила она. — Ты знаешь, кто я?— Да, — сказал он. — Ты — та, что убила сына. Ты — та, что охотится на «Колыбель». Я искал тебя.Мара молчала. Она смотрела на него — на его слабые руки, на его бледное лицо, на его глаза, которые были слишком добрыми для этого мира. И ждала.— Я не могу убить отца сам, — сказал Кейн. — Я слабый. Я боюсь. Я даже нож держу неуверенно. Но я знаю всё — где он спит, когда он один, как он охраняет книгу. Я могу провести тебя. Я могу предать его с той стороны, с которой он не ждёт. Только… только убей его. Пожалуйста. Не ради меня. Ради всех, кого он убил. Ради всех, кого он ещё убьёт.Мара смотрела на него долгим, странным взглядом. А потом сказала:— Нет.---Часть IV. Недоверие— Почему? — спросил Кейн.— Потому что ты — его сын, — сказала Мара. — Потому что ты живёшь в его доме. Потому что ты ешь его хлеб. Потому что, может быть, ты — приманка. Может быть, твоя тетрадь — это ложь. Может быть, ты просто хочешь заманить меня в ловушку.Кейн не обиделся. Он не удивился. Он просто кивнул — как будто ждал этого.— Я понимаю, — сказал он. — Я бы тоже не поверил.Он закрыл тетрадь. Встал. И вышел из комнаты — оставив Мару над телом его матери.Она не убила его. Не могла. Что-то в нём — что-то слабое, доброе, чужое

— остановило её. Но и не поверила ему. Не могла. Слишком много раз её предавали. Слишком много раз люди говорили ей «помоги», а потом вели в ловушку. Слишком много раз она видела, как добрые глаза скрывают злые сердца.Она ушла в ту же ночь. Но недалеко. Она осталась в городе — наблюдала. Ждала. Проверяла.---Первые три дня Кейн не подходил к ней. Он жил своей жизнью — тихой, незаметной, слабой. Он ходил по улицам, кормил собак, приносил воду старикам. Он записывал имена в тетрадь — каждую ночь, как всегда. Он плакал — каждую ночь, как всегда. И он не искал Мару. Не звал. Не умолял.На четвёртый день Мара сама пришла к нему.Она нашла его в подвале — в старом доме на краю города, где он прятался от отца. Он сидел на полу, с тетрадью в руках, и писал. Слёзы текли по его лицу — тихо, беззвучно. Он не заметил, как она вошла.— Почему ты не убил меня? — спросила Мара.Кейн поднял голову. Посмотрел на неё — без страха, без удивления. Просто посмотрел.— Потому что ты убила мою мать, — сказал он. — И я не знаю, должен ли я тебя ненавидеть. Она была чудовищем. Она убивала детей. Но она была моей матерью. И я не знаю, что я должен чувствовать. Я просто… я просто пишу.— Ты пишешь имена.— Да.— Зачем?— Чтобы не забыть. Чтобы они не исчезли. Чтобы кто-то — хоть кто-то — помнил, что они были.Мара молчала. Она смотрела на него — на его слабые руки, на его бледное лицо, на его глаза, которые были слишком добрыми для этого мира. И понимала: он не лжёт.

Он не мог лгать. Он был слишком слабым для этого.— Ты говорил, что можешь провести меня к отцу, — сказала она. — Это правда?— Да.— Почему ты хочешь его убить?— Потому что пока он жив — мир не изменится. Потому что пока книга долгов существует — дети будут умирать. Потому что кто-то должен это остановить. А я… я не могу. Я слабый. Я боюсь. Я даже нож держу неуверенно. Но я могу помочь тебе. Я могу предать его с той стороны, с которой он не ждёт.Мара смотрела на него долгим, странным взглядом.— А если ты меня предашь? — спросила она. — Если ты за одно с отцом? Если твоя тетрадь — просто приманка?Кейн не ответил сразу. Он достал тетрадь. Открыл её. И протянул Маре.— Прочитай, — сказал он. — Все имена. Все молитвы. Если ты найдёшь хоть одно слово лжи — убей меня. Я не буду сопротивляться. Я не умею.Мара взяла тетрадь. Она читала долго — час, два, три. Она перелистывала страницы, вглядывалась в мелкий почерк, читала молитвы на полях. Она видела имена детей, которых убивали его родители. Видела имена стариков, женщин, мужчин. Видела, как он записывал каждое имя — чтобы помнить. Чтобы не забыть. Чтобы кто-то — хоть кто-то — помнил, что они были.Она не нашла лжи. Ни одного слова.Она закрыла тетрадь. Вернула её Кейну. И сказала:— Хорошо. Я тебе верю.---Часть V. Доверие Но доверие не пришло сразу. Оно росло медленно — как росток сквозь трещину в камне. Как что-то слабое, но живое, что не хочет умирать.Мара не оставила Кейна. Но и

не доверяла ему. Она проверяла его каждый день — задавала вопросы, на которые не было ответов, ставила в ситуации, из которых не было выхода. Она хотела увидеть, как он сломается. Как покажет своё истинное лицо. Как предаст.Кейн не ломался. Он отвечал — тихо, честно, без страха. Он не пытался её обмануть. Не пытался произвести впечатление. Он просто был собой — слабым, добрым, чужим. Он кормил собак. Приносил воду старикам. Записывал имена. Плакал ночами. И не просил ничего взамен.Однажды Мара сказала ему:— Ты странный.— Почему?— Ты добрый. В этом мире никто не добрый. Это… неправильно. Как будто ты родился не здесь. Как будто ты родился до проклятия.Кейн улыбнулся — впервые за много дней. Улыбка была слабой, бледной, но настоящей.— Может, и родился, — сказал он. — Только не помню.Мара смотрела на него и чувствовала, как что-то внутри неё — то самое, что она считала мёртвым, — шевельнулось. Как будто хотело вырваться. Как будто хотело сказать что-то.Она не слушала. Она давно научилась не слушать.

Глава 2

Тот, кто выбрал тьму

Часть I. Мальчик, который перестал бояться

Ян родился в мире, который уже умирал. Но он не знал об этом. Дети не знают, что мир умирает, — они просто живут в нём, как в воде, и дышат тем, что есть.

Ему было четыре, когда он впервые увидел, как убивают человека.

Это случилось на рынке. Ян держал мать за руку — маленькую, тёплую, шершавую от работы. Они шли за мукой. Впереди, у мясной лавки, двое мужчин спорили о чём-то — громко, зло, с той особой яростью, которая бывает у людей, которым нечего терять. Один из них вдруг схватил нож с прилавка и ударил другого в живот. Раз. Два. Три. Кровь брызнула на витрину, на мясо, на лица прохожих. Убитый упал на колени, потом на бок, и его глаза остались открытыми.

Ян замер. Он не закричал. Он не заплакал. Он просто смотрел, как из человека вытекает жизнь, и чувствовал, как что-то внутри него сжимается — маленькое, твёрдое, холодное.

Мать дёрнула его за руку и потащила прочь. Она что-то говорила — быстро, испуганно, — но Ян не слышал. Он смотрел назад, через плечо, пока тело не скрылось из виду.

В ту ночь он не мог уснуть. Он лежал в темноте и видел кровь на витрине. Она была красной — слишком красной, почти неестественной. Как будто кто-то пролил краску. Как будто это было не по-настоящему.

Но это было по-настоящему.

Через месяц он увидел второе убийство. Женщина зарезала мужчину в переулке — может, мужа, может, любовника, может, просто незнакомца, который оказался не в том месте. Ян стоял в двух шагах и смотрел, как она бьёт ножом снова и снова, пока мужчина не перестал двигаться. Потом она села рядом с телом и заплакала. Ян не подошёл. Он просто ушёл.

Третье убийство он увидел в шесть лет. Четвёртое — через неделю. Пятое — через два дня. К седьмому году он перестал считать. Он видел смерть так часто, что она стала частью пейзажа — как серое небо, как гнилые крыши, как грязь под ногами. Он научился не смотреть. Научился отводить глаза. Научился думать о чём-то другом, пока рядом убивают человека.

Но страх не ушёл. Он просто спрятался глубже.

Ян боялся. Каждую ночь он просыпался от того, что его сердце колотилось о рёбра, как пойманная птица. Он боялся, что однажды кто-то придёт и за ним — с ножом, с верёвкой, с голодными глазами. Он боялся, что мать умрёт, и он останется один. Он боялся, что мир никогда не изменится, что он так и будет жить в этом кошмаре, пока его самого не убьют.

А потом он узнал, что можно забрать чужую жизнь. И вме-

сте с ней — забрать чужой страх.

Часть II. Брат

Ему было семь, когда родился брат.

Мать рожала дома, в комнате, которая пахла кровью и потом. Ян стоял за дверью и слушал, как она кричит. Он не боялся. Он уже слышал крики раньше. Он знал, что это закончится — либо ребёнком, либо смертью. Мать выжила. Ребёнок тоже.

Его назвали Тимом. Маленький, красный, с кулачками, сжимающимися в воздухе. Мать плакала от счастья. Ян смотрел на брата и не чувствовал ничего.

Он не ненавидел его. Не завидовал ему. Просто смотрел — и думал: «Вот ещё одна жизнь. Ещё один набор ударов сердца. Ещё одна добыча».

Он не хотел убивать брата. Правда, не хотел. Он просто хотел перестать бояться. И когда он понял, что годы, забранные у другого, могут дать ему это — тёплое, сладкое чувство, которое заглушает страх, — он перестал колебаться.

Он пришёл к колыбельке ночью. Тим спал — тихо, безмятежно, как спят младенцы, которые ещё не знают, что мир — это гнилая пасть. Ян стоял над ним и смотрел. Он думал о матери. О том, как она будет плакать. О том, как она посмотрит на него, когда узнает. Он думал о том, что это неправильно. Что он не должен.

А потом вспомнил, как в четыре года стоял на рынке и

смотрел на кровь на витрине. Как что-то внутри него сжалось — твёрдое, холодное. Как он не заплакал. Как он ничего не почувствовал.

Он взял подушку. Прижал её к лицу Тима. И держал, пока маленькое тело не перестало дёргаться.

Это было быстро. Почти нежно.

А потом годы вошли в него. Тепло разлилось по груди, по животу, по рукам. Оно было мягким, как одеяло. Оно было сладким, как мёд. Оно заглушило страх — впервые за семь лет Ян почувствовал, что может дышать. Что мир не такой страшный. Что он — не маленький, дрожащий мальчик, а кто-то другой. Кто-то сильный.

Он сел на пол рядом с колыбелькой и заплакал. Но это были не слёзы горя. Это были слёзы облегчения.

Мать поверила, что Тим умер во сне. Врач сказал — остановка дыхания, бывает с младенцами. Мать плакала три дня, а потом смирилась. В этом мире дети умирали часто. Смерть ребёнка была трагедией, но не такой, которая ломает жизнь. Жизнь и без того была сломана.

Отец не поверил. Он посмотрел на Яна — долгим, тяжёлым взглядом — и ничего не сказал. А через год ушёл навсегда. Просто собрал вещи и ушёл, не попрощавшись. Ян не винил его. Он бы тоже ушёл.

Он остался с матерью — слепой, любящей, ничего не подозревающей. И продолжал убивать.

В восемь он убил соседского мальчика.

Тот был старше — десять лет, — и он смеялся над Яном. Называл его «сыном труса» — потому что отец ушёл. Смеялся над его одеждой, над его матерью, над его тихим голосом. Ян слушал и молчал. Он умел молчать. Он умел ждать.

Он пришёл к нему ночью. Мальчик спал в своей комнате, на кровати, которая была больше, чем вся комната Яна. Ян стоял над ним и смотрел. Он думал: «Ты смеялся надо мной. Ты думал, что я слабый. Ты не знал, что я уже убил одного. Что я могу убить и тебя».

Он перерезал ему горло ножом, который украл у мясника. Кровь залила подушку, простыни, пол. Ян стоял и смотрел, как она растекается — тёмная, густая, почти чёрная в лунном свете. А потом почувствовал, как годы входят в него. Целая жизнь. Целая вечность.

Тепло было сильнее, чем в первый раз. Оно заполнило его всего — до кончиков пальцев, до корней волос. Ян закрыл глаза и улыбнулся.

В десять он убил учителя.

Тот был старый — лет шестьдесят, может, больше. Он учил детей читать и писать — в этом городе ещё оставались такие, кто помнил, что это важно. Но он слишком близко подходил к матери Яна. Слишком часто задерживался у них дома. Слишком долго смотрел на неё. Ян видел это. Ян всегда видел.

Он убил его в переулке, когда учитель возвращался домой. Ударил камнем по голове — раз, два, три, пока череп не треснул, как яичная скорлупа. Потом сел рядом и стал ждать. Годы вошли в него — двадцать, тридцать? Он не считал. Он просто чувствовал тепло.

В двенадцать он убил первого младенца.

Это было в родильном доме — старом, заброшенном, но всё ещё работающем. Женщина рожала в одиночестве, потому что все, кто мог ей помочь, давно умерли или ушли. Ян вошёл в палату, когда она спала. Ребёнок лежал рядом с ней — маленький, сморщенный, с закрытыми глазами. Ян взял его на руки. Он был тёплым. Он пах молоком.

Ян убил его быстро — сломал шею. Один год. Всего один год. Но тепло было таким же сладким, как всегда.

К шестнадцати годам Ян убил сорок семь человек. Внутри него жили триста двадцать лет. Самый молодой старик в городе. Он выглядел на восемнадцать — стройный, темноволосый, с глазами, которые ничего не выражали. Но внутри него было триста двадцать лет чужой жизни. Триста двадцать лет страха, боли, надежды, любви — всё это теперь принадлежало ему. Он забрал их. Он выпил их. Он стал ими.

— Ты чудовище, — сказала мать, когда уже не могла не замечать. Она нашла кровь на его рубашке — не свою, чужую. Она посмотрела на него — долгим, страшным взглядом — и повторила: — Ты чудовище.

Ян не стал спорить. Он просто посмотрел на неё — спо-

койно, ровно — и сказал:

— Нет, мама. Я такой же, как все. Просто я лучше играю по правилам.

Она не поняла. Он и не ждал, что поймёт. Она была из тех, кто всё ещё верил, что можно жить иначе. Что можно не убивать. Что можно остаться человеком. Ян знал, что это ложь. Он знал это с четырёх лет — с того дня на рынке, когда увидел кровь на витрине и понял, что мир не изменится. Никогда.

Часть IV. Колыбель

В восемнадцать Ян вступил в «Колыбель».

Это была организация — не банда, не банда, а именно организация, с правилами, с иерархией, с целями. Они охотились на младенцев ради их лет. Не потому, что были злыми — а потому, что это было выгодно. У младенцев больше всего ударов сердца. У младенцев ещё нет страха. У младенцев легко забирать — они не сопротивляются.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.